

*Герои и место действия вымышлены. Совпадения случайны.*

Автор

Случилось, что и должно было случиться, когда у не в меру разыгравшихся актёров, поклонников европейской культуры, родилась дочь. Папе, Нилу Парамоновичу, имевшему неприглядную фамилию Сермяжный, было близко к сорока. Не любил Парамонович своего имени-отчества, немало он натерпелся в школе, в театральном училище прозвищ-насмешек. Затерянную в лесах свою деревеньку вспоминал усмехаясь. Шибко не нравились ему слова «надоть» и «эвон». Но из тех мест, где говорили «эвон», «гамася», ему и достался врождённый инстинкт самосохранения, какой весьма пригодился ему в жизни с её непредсказуемыми переменами.

Парамон, его отец, был человеком уважаемым в деревеньке Овсюгово. Пятистенный их дом, двор, крытый драничкой, выделялись среди других строений в деревне. А в стайках у Сермяжных не менее трёх коров, к зиме забивали на мясо бычка. Не менее трёх коней у них, земляцы — немерено. К нему, к Парамону, приходили мужики, если что надо спросить, посоветоваться по хозяйству.

Но грянули семнадцатый, революция, раскулачивание справногo мужика. Наперекосяк всё пошло. Те, кто помоложе, стали уезжать. Нил, закончив — неплохо закончив — сельскую школу, поступил учиться в Зеленоярское театральное училище.

Некоторое время студент ходил в куртке из домотканой ткани-сермяги. Но, как известно, всё проходит, и, закончив факультет, он стал создавать на сцене образы эпохи социализма. Но, приобретя пару приличных костюмов, две-три пары обуви, он стал выказывать явные признаки неудовлетворённости, свойственной творческой личности. Ему сделали прибавку к почасовой оплате, дали квартиру, он же избрал себе в качестве творческого псевдонима Крестовоздвиженский. В наступившую эпоху развитого социализма среди его вольнодумствующих друзей поступок был оценён. Шепоток за спиной: «Диссидент», — бодрил Нила Крестовоздвиженского.

И ещё штрих к портрету честолюбца.

Как-то у служебного входа встретил его друг давний, с раннего детства дружили. Встретил, обнять норовит, а вид-то не очень у друга детства. Нил Парамонович сразу и ответил: — Ты прости, друг. Через пять минут мне на сцену выходить, — ладошками его за плечи держит, улыбается.

А тот, с кем когда-то, очень давно, пескарей да ершей ловил, неулыбчивым стал, куда-то всё в сторону смотрит.

— Буду в Овсюгово — зайду. Не-пре-мен-но зайду, — плечи покрепче сжимает, потряхивает их. У друга, с кем когда-то разошёлся удачному клёву и появлению первых росточков медвежьего лука сразу за огородом их, Сермяжных.

Теперь о мамочке новорождённой, супруге Нила Парамоновича.

Она была единственной дочерью следователя по особо важным делам Сергея Вербицкого, известного правоохранителя в Зеленоярске, беспощадного к нарушающим закон. Даже букву закона! О чём неоднократно свидетельствовали местные газеты, ставя его в пример нерадивым защитникам норм социалистического общежития.

Его единственная дочь Светлана была актрисой, игравшей роли второго плана. Хорошо она входила в роль первой любовницы короля и западного толстосума. Любила она и роль взбалмошной девчушки (но такой же — нашей, советской!), дочери крепкого хозяйственника советской формации.

Было ей только за двадцать, и это при хорошенькой фигурке, обещающей ей право, образно говоря, сыграть по жизни роль самой королевы. И когда из интеллигентствующих кто спросит о девической фамилии Вербицкая, не приходится ли она родственницей известной романистке Анастасии Вербицкой, Светочка хорошо конфузилась, как это бывает, когда она вынуждена выказать своё родство с теми, кто сделал большущую борозду на литературном поле России.

— Теперь трудно об этом говорить, — только и скажет она в ответ.

Брак диссидентствующего Нила Парамоновича с потомком литературного гения был зарегистрирован в установленном порядке, и спустя пять месяцев на свет появилась чудная малышка, названная Симоной.

Хорошо им втроём в уютной трёхкомнатной квартирке в центре города, гараж во дворе, а в нём «Волга», что по тем временам было престижно для творческого человека. По запланированному ранее визиту посещающие их могли насладиться беседой о прекрасном. Полюбоваться масками, изготовленными мастерами в недрах Французской Экваториальной Африки. А если повезёт гостям, то и почувствовать утончённость недопонимания ими, избранными, тех, кто рулит искусством. Там, наверху! И поэтому Нил Парамонович, имея на это моральное право, мог (разумеется, к месту) задуматься глубоко, скорбя о несовершенстве тех, кто «недопонимает». Встать с кресла, руки за спину—и, тихо ступая, пройти по ковру хорошего качества, из спецраспределителя. К присутствующим остановиться в пол-оборота и, тихо покачивая головой, прикрыть усталые глаза. На это его хорошенькая супруга тоже покачивала головкой, а глаза. . . глаза грустные-грустные, потому что она тоже понимала текущий момент.

Но, кажется, хватит о родителях Симоны. Поговорим о главном герое нашего повествования: как она-то, появившаяся на белый свет?

Даже при простом недомагании Симочки её папа бодрствовал, переживая за её здоровье. Строго по рекомендации врача ставил градусник, следил за своевременным приёмом таблеток, строгойше выполняя рекомендации известного врача. Ещё маленькой она слышала, что её мамочка на работе окружена завистниками и похотливцами. Вот почему она не может зайти в продуктовый магазин, сказку ей рассказать от возникающей головной боли. И Симочка воспринимала присутствие папочки у её кровати естественным. Звала папочку, если ей нужно на горшочек.

Сима Сермяжная—ну и наградил же её отец фамилией!—росла девочкой умненькой. Не капризничала. Да чего ей капризничать, если отец, выражаясь высоким штилем, предвосхищал её желания? И когда встал вопрос о детском садике, Нил Парамонович, собрав необходимую информацию, выбрал с уклоном на французский.

В школьные годы Симочке нравилось бывать в театре на репетициях, где мама объясняла ей о вхождении актёра в образ, указывая на свои успехи через мимику, жесты, походку и вкрадчивость голоса. И девочке нравилось перевоплощение мамы в первую леди, в которую влюбился сам король.

Студенткой обычного строительного института Симочка выделялась походкой, какая бывает у красавиц балета. Конечно же, эта деревенщина из студенческого общежития не упускала случая в своём кругу позволить себе какую-нибудь колкость относительно её сапожек с болтающимися пампушками. А какой славный золотой кулончик с изумрудиком от дедушки Сергея! Кажется,

что он своим блеском сводил с ума некоторых из малообеспеченных семей.

Незадолго до преддипломной практики был случай один. Прямо скажем, дикий случай, если верить общежитским.

Симе, уже заметно беременной, что-то понадобилось в общежитии, что на горе, в комнате на шесть человек с влажным воздухом от стирального белья, где мало света от толстой корки льда на оконных стёклах. Неуютно показалось Симоне в общежитии в этот морозный вечер. Плечами она передёрнула от вида неприбранных кроватей вперемежку с книгами сметных норм при монтаже железобетонных конструкций в условиях Сибири и Крайнего Севера. Унижала сметные нормы и оставленная тарелка с гороховым гарниром, поставленная прямо на цены используемых машин и механизмов. Ещё показалось Симоне: чем-то нехорошим припахивает в комнате на шесть студентов. А может, это оттого, что скоро ей стать мамой? У них бывает такое.

Та, к которой пришла Сима, вышла к телефону на вахте. Две оставшиеся студентки говорили о преддипломной практике, вспоминая о каком-то студенте, который «ничего», и преподавателе, который «достал». А студентка, что в спортивной куртке, спала вопреки сырости и отсутствию уюта в сумерках комнаты. Большая хозяйственная сумка на проходе стала Симу раздражать.

«Спит,—зло думала она о спящей.—Довольная. . . Да и как ей быть недовольной, если ей каждый месяц из деревни такие сумки привозят с салом, капустой квашеной?.. А эти две о какой-то манёвренности строительного комплекса рассуждают. О мальчишке, который как бы „ничего“. Тоже, наверное, титан мысли их урны с тремя рублями в кармане»,—вокруг смотрит Симона. Уныния на лице прибавилось к тому, что уже было.

Девушка, что казалась уснувшей, и увидела, как заскучавшая Симона, озираясь, открыла верхний ящик у прикроватной тумбочки и что-то там взяла—как потом оказалось, деньги,—и спрятала их за резинку чулка. Поправив на себе модное—какое ещё поискать надо!—платье и сделав лицо усталым от неучтивости к ней, стала ожидать ушедшую к телефону.

А вот и она, как говорили тогда, заявила—не запылилась. Весёлая, не остывшая от разговора по телефону. Она ещё под впечатлением, но, что-то вспомнив, открыла верхний ящик тумбочки. Рука замерла над ящиком, блуждающая улыбка куда-то подевалась у студенточки. Рукой поглубже в ящике начинает искать, на лице удивление всё более с примесью страха. Искорки в глазах исчезли, морщинки на юном лице обозначились. Руками беспокойными какие-то дамские штучки перебирает. Вокруг тумбочки шарит, на свободную

койку Симону просит пересесть. Под своей кроватью пакеты ощупывает, на проход, где светлее, их тянет.

— Де-воч-ки,—дрожащим голоском зовёт тех, кто в дипломных работах будет утверждать о важности манёвренности строительного комплекса.— Деньги... вчера только получила,—всхлипывает.— По-те-ряла. Из дома прислали,—губки у неё стали какие-то беленькие. Под тумбочку заглядывает, рукой шарит. Вздыхает неровно.— Две недели ещё до стипендии,—что-то бормочет, упоминая гарниры из макарон, картошки.— Горох уже видеть не могу,—себе под нос, чуть слышно.

Те двое советуют искать лучше, припомнить: не положила ли куда? Выказывают сочувствие всхлипывающей, ладошками щёки от слёз вытирающей. Понимают: несладко ей будет на горохе-то.

Как это бывает в драме, в самом апогее её, тут и откинула от себя какую-то тряпку та, что как бы спала. Щупленькая такая, сразу видно—из дотационного района она: ни росточка в ней, ни формы, а сколько же зла в глазёнках её!

— Она взяла! Сама видела, как она шарила в тумбочке,—лицом побледнела от злости на Симону, губы трясутся. Неэтично это совсем, пальцем на Симону показывает.— Деньги, видела, за резинку чулка спрятала,—и опять пальцем в лицо Симочки.

Негодование во всех жестах её, сказавшей как-то среди своих: «Как дорого, по-заграничному, одевается эта Симошка... Можно подумать!!!»

После непродолжительного, но эмоционального негодования и попыток выйти из комнаты пришлось Сермяжной, вынимая деньги, сказать: — С вами уж и пошутить нельзя!

Со свойственным ей достоинством она вышла из комнаты с влажным воздухом и непонятным ей запахом насыляющих её жильцов. «Так и не вышедших из пещеры библейского пастуха Авеля»,—вспомнила она сказанное как-то её одним из знакомых—интеллигентным, начитанным, закончившим два факультета.

О случившемся уже через час-полтора в общепитии знали все. Охотно вспоминали золотые запонки у Симоны и беременность, преувеличивая размер лысины у её поклонника. Припомнили ей: она и раза не ездила со всеми копать в колхозе картошку.

В те дни на лицах её друзей, напротив, было понимание случившегося как проявление зависти, серости к тем, кто их превосходит. Грустно на это вздыхала Сима, руками разводила, выражая мысль: что с них взять?

Я учился в смежной группе с Сермяжной, и мне не хотелось верить в случившееся.

Прошло несколько трудных лет. Немного посидел, побывал в неволе среди тех, кто не пожелал играть в «массовке». А потому приписанных

изошрённой пропагандой к негодьям-отщепенцам, изменникам Родины. Но нет худа без добра. Это о тех, кто перетерпел, не прогнулся под бременем клеветы.

После освобождения работал я на линейном строительстве. Монтировал котельные, системы водоснабжения, канализации, теплофикации и прочее, что в плане. Дороги разбитые, перебои с поставками материалов, оборудования. Попробуй догони Америку!

Но вернёмся к Симоне.

В тот год, о котором пойдёт речь, случилось мне отдохнуть на море. А возвращаться через столицу—захотелось пройти по её улицам, посмотреть, как там люди живут, при развитом-то социализме.

К вечеру, когда я прогуливался и вспоминал мои строительные неудачи, чертыхаясь на бездорожье в Сибири, около меня резко остановилась машина. Из неё вышла и навстречу пошла знакомой походкой она—Симона. Как и не было прошедших лет: носочки чуть в сторону, глазки щурятся. С зеленой такие глазки, стреляющие.— Кого я вижу?!—на лице радость, щёчку для поцелуя подставляет, о чём я сразу и не понял.

— Как это вы смогли узнать меня из проезжающей машины? Да ещё и в зеркале заднего вида,—удивился я, рассматривая знакомые повзрослевшие черты лица с выражением радости и сдерживаемого чувства превосходства. Что показалось мне естественным для Симоны, ставшей дамой незнакомого мне столичного общества.

Иначе и быть не могло, когда я увидел её двухкомнатную квартиру на Кутузовском.

«Однако»,—подумал, осматривая признаки достатка в апартаментах. Не видел я таких высоких холодильников, морозильной камеры. И чтоб в каждой комнате—по телевизору. А ручная кофемолка? Это же прежде произведение искусства, а не кофемолка.

— Располагайся,—сделала Сима широкий жест в сторону роскошного дивана.—И как же славно, что я встретила тебя,—улыбку сделала,—Именно сегодня я свободна,—устраиваясь в кресле напротив.— Ты прости, напомни своё имя,—в гостиную чувствовался незнакомый мне запах фруктов.— Я душ приму первой.

Встаёт, ко мне наклоняется. Со знакомым прищуром смотрит, указательным пальчиком по моей щеке, губам поводит, выказывая недоступную некоторым из Сибири столичную раскованность.— Твоё полотенце,—выходя из ванной, указала на открытую в неё дверь.

Наклонилась, придерживая одной рукой махровое полотенце с сиреневыми цветами по жёлтому полю, другой доставая из холодильника бутылку с незнакомой мне этикеткой. А я, зайдя в ванную, вспомнил слово «будуар».

Разговор в постели был прерывист, между глотками вина, из того, что Сима вспомнит или увидит.

— Василий Кандинский,— назвала почти незнакомое мне имя автора мазни из геометрических фигур и обглоданных скелетов рыбок.— Из неучтённых вещдоков,— бокалом на картину в тяжёлой рамке указывает.— Ты даже не представляешь, что вытворяли они во время группового секса с молоденькими девочками. На суде я проходила свидетелем, такие они все мальчишки-паиньки, а не фарцовщики-валютчики,— и я вспомнил недавнюю статью из центральной газеты о валютчиках—изменниках Родины, расстрелянных по решению суда вопреки обращению так называемого мирового сообщества.— А Кандинский— он всегда Кандинский,— ещё бокалом на картину указывает.— Надеялись, ихний президент спасёт от высшей меры. Вены вскрывали... А тот, что композитором себя возомнил, как дитё малое начал на суде скулить,— казалось, засыпает Симона.— Ты спрашиваешь, где сын мой,— вспомнила она мой вопрос,— что ещё студенткой родила? Больным амаврозом он оказался. Родился слепым, немым. Полгода грудью покормила, четыре года жил у моей дальней родственницы в деревне. Петушки деревня называется. Забавное название, не правда ли?— на меня посмотрела.

На что я кивнул согласно.

— Потом в детский дом его сдала. Инвалидов детства. Надо было и мне как-то устроиться в этом мире. Года четыре уже будет, как навестила его с одним... ныне важным товарищем...

Повыше легла, кивнула на бутылку, глазами указала на мой и свой стаканы.

— Спрашиваешь, как мои предки?— глоток из стакана сделала. Задумалась.— Отец умер. Перед смертью долго и тяжело болел, в церковь стал ходить. Меня просил пройти обряд крещения, причаститься. Что он всё знает и что по-христиански меня любит. Видно, совсем у него «крыша» поехала, о каком-то Успении писал,— на меня вопросительно посмотрела Симона.

Я промолчал, рассудив: не место и не время теперь об этом.

— И что наши овсюговские мужики, бабы во сто крат умнее, чем он думал. А нас с Сергеем, дедушкой по матери,— улыбнулась криво,— хамствующими называет. Где-то в столе это письмо про Успение. Перед смертью, видно, совсем «крыша» поехала,— накопилось у Симоны достаточно, выговориться ей хочется.

Передо мной-то это ей совсем безопасно. С минуту помолчала—и:

— А мать за три года раза четыре уже побывала в гражданском браке. Письма мне пишет, напоминает: я её дочь,— криво усмехнулась, как это бывает у сильных.

Села, ноги с кровати опустила. Хмурится, вспоминая что-то неприятное.

— Отец её, дед Сергей, прошлой весной копыта откинул,— бокал с вином ставит на столик, снова берёт, чтобы отпить.

— Что ты о нём... так?

— В своё время он мне и помог в Москву перебраться. С нужными людьми познакомил,— роскошную спальню обводит взглядом.— Любил он о своих успехах рассказывать. О том, что уже более двадцати смертных приговоров вынесено уголовникам по его расследованиям. Улакал, выражая свою решимость борьбы с уголовниками. Всего и старше моего отца на год, а со мною, пятнадцатилетней школьницей, спать начал. Сладострастник,— в освещённой спальне хорошо видны её глаза, лицо каменное.

С этим лицом она и укладывается, на себя тихо одеяло тянет до самых глаз.

«Ну и дадут эти менты,— подумал я в защиту Симы.— Вот поганец, а?»

— А в конце своей жизни дедусик Сергей оказался совсем на букву «Г»,— из-под одеяла говорит, едва разобрать можно.— У него же в сейфе было сто тысяч долларов. Долларов!— погромче.— Но в связи с убийством его каким-то из бывших подследственных следователь приобщил их к вещдокам, а суд постановил изъять их в пользу государства... Гадёныши,— со вздохом.— Бабка Ньюра теперь в каком-то третьеразрядном доме престарелых обитает. Если ещё жива... Говорили, при упоминании моего имени у неё пятна на лице появляются... Крестится, проклиная. Меня во всём винит.

Симона молчала долго; глаза закрыла.

— Нет, ты посмотри, какие эти фарцовщики подонки,— одеяло потянула со рта.— При арестах у каждого из них не менее десяти тысяч долларов изъяли. Картины, монеты из золота у них,— негодует, вино со стакана на грудь капает.

Икает, оказавшаяся фригидной в тридцать лет.

Утром поздно встали. К окну Симона подошла, на проспект Кутузова смотрела невесело. Постучала баночками в «будуаре», приводя себя в порядок. За завтраком я узнал: была замужем.

— Да, была замужем,— ответила мне с лицом человека, скучающего от глупости вокруг.— Всё такой в науке он был, а головка набор, какую-то он формулу всё изобретал. Родители оба философы, тоже головкой страдали. В Питере живут, четыре комнаты, высокие потолки, обстановка— дай Бог всякому. И сын— один! К ним мы из Москвы и ездили. По праздникам. Милочкой его мать меня всё называла... Стерва. Бердяев, Бердяев,— передразнивает бывшую свекровь.— Примат свободы над бытием,— кончик язычка показала, как это бывает в детстве.— Дети-погодки у них живут, не совсем здоровые, по санаториям их возят. Деньги

есть—пусть возят,—плечами пожала. На постаревшем вдруг лице—тоска всё сильнее.—Одного человека мне жалко в этой жизни. Васю Трофимова.

И сегодня я помню этот случай. Врезался он мне в память.

Студент четвёртого курса Трофимов, вопреки правилам соблюдения техники безопасности, решил пройти по несущей балке на высоте шести метров.

«Ну-ну, покажи себя, Васенька»,—задорно смотрела снизу на него Симона.

«Васька, не дури!»—кричали студентки, в глазах их неподдельный страх.

И до сих пор я помню трясущиеся руки его отца, когда мы выносили тело из морга. И как укор мне эти воспоминания—трясущиеся руки отца.

На этой печальной ноте мы и простились.

Я думал—навсегда.

Это будет скучно рассказывать, как я-то жил. Ничего яркого, а в заботах обычных, как у всех, и потому годы пролетели быстро.

Дома... Как у всех дома: дети, пока маленькие, болеют. Подрастая, тоже не оставляют без проблем. Хотелось, чтобы я получал побольше—это о супруге.

На стройплощадке автоматическая система управления строительством, скопированная с западных схем, среди понимающих это строительство у нас воспринималась как насмешка над здравым смыслом. Шутили наши: супротив нашего строителя с ломом в каждой руке не устоять западному экскаватору. Несмотря на авралы, угрозы свыше, работа велась, объекты сдавались, в День строителя в немалом количестве выдавались почётные грамоты.

Совсем перед перестройкой купил я у инвалида войны несколько соток садового участка. Инвалид был без одной руки и без ноги, но всё ещё тяжёл для своей старухи, когда ей приходилось его пересаживать из «Запорожца»—в коляску. Перевозить в покосившуюся от времени избушку. Весной и осенью к ним наезжали дети, внуки. Поработать, пошутить. На это ветеран нет-нет да прикрикнет на нерадивого, чтоб напомнить, кто в доме хозяин. И казалось мне: все довольны были вместе. Несмотря ни на что.

Как-то ветеран позвал меня подойти поближе к отделяющему нас низкому заборчику. И после: «Как жив, как здоров?»—скорбно сообщил, что его хозяйка совсем обезножела.

—Колени покраснели, распухли, болят—силы нет. Сегодня ночью плакала. Ноженьки свои не знает как положить,—головой скорбно качает инвалид войны.

Наблюдая его неподдельное сострадание, я припомнил, что нынешней весной его, заметно

постаревшего лицом, привозил кто-нибудь из его детей.

С этим в памяти я и на пенсию вышел, в окно всё чаще посматривать стал. Воспоминания у меня разные. Сравнения, оценки. Как жизнь прожил и как понимать из того, что было в этой скоротечной жизни.

Прочитал я в областной газете, что нынешний перестроечный хозяин зверофермы по разведению шиншилл обанкротился. Называлась и его фамилия, приехавшего из Москвы и купившего ферму фактически за копейки. А имя обанкротившегося—Симона.

«Где нынче те, с кем я когда-то начинал жить?—загрустил, наблюдая за жизнью во дворе.—Как сложилась судьба у тех девочек-мальчиков, что пели щемлящие теперь мелодии нашей юности?» К другому окну перейду, но и там, как говорил мудрец, томление духа. Вдруг вспомнится из того, что было давно. Как в другой жизни это было...

Года через три после окончания строительного института на перекрёстке больших улиц увидел я знакомого по студенческим годам. И был он, как говорят нынче, из тусующихся, где была и Симона. Увидев меня, он поспешил ко мне через улицу.

—Привет-привет,—улыбку сделал.—Тысяча извинений, но я забыл, как тебя звать. Жизнь как? Кем трудишься?—мою руку у локтя жмёт.

—Зовут Владимиром,—всматриваюсь в сероватое лицо.—Прорабом работаю на линии, по районам мотаюсь,—стал думать, что бы ещё сказать.

—Ты понимаешь, Вольдемар, тут вот какое дело: срочно нужно три рубля. И как назло, ну никого из тех, с кем знаком, учился. Тоже где-то прорабствуешь. Пораньше,—в глаза смотрит внимательно—не много ли это для меня.—Отдам, непременно отдам при первой же встрече,—успокаивает, с большой надеждой смеет.—Обязательно отдам,—говорит, сжимая в руке деньги и толкая их в карман пузырящихся, просвечивающих на коленях галифе. А на ногах—грязная обувь, оставшаяся со времён освободительных походов прежнего хозяина.

Бывая в городе, я видел его ещё раз, стоящего на большой улице и всматривающегося в лица прохожих.

И мне припомнилось другое: одна сцена в аудитории, где должна быть скоро лекция для всего курса.

Студенты заходили, рассаживались... —Не чурайся нас, сирых,—рядом со мной оказался тот, что спустя годы начал всматриваться в лица прохожих.—Говорят, ты знаешь десять языков. Вот и скажи нам, как на вашем латышском будет...—далее последовал мат с упоминанием двенадцати апостолов.

—У нашего народа нет такого,—ответил расположившийся ниже студент из сосланных, потом

реабилитированных. — Языков я знаю пять, — говорит с акцентом рано полысевший, в возрасте к тридцати. — Но думаю изучить ещё несколько, — оборачивается, смотрит.

— Ты скажи тогда, скажи, как... — наклоняется к рано полысевшему, что-то на ухо шепчет.

На это его товарищи смеются. Рядом с Симоной — девица с заметно короткими верхними конечностями. Из деликатности она прикрывает рот маленькой ладошкой с пальчиком, на котором перстенёк. Красивый такой перстенёк, с камушком красненьким. А глаза — с лёгким прищуром. Красивые такие глаза, весёлые.

С латышом этим сидел какой-то студент из общежитских, неприметных. Прислушивался, а на лице его всё больше улыбка, какая бывает у взрослого, наблюдающего за игрой малышни, похваляющейся своими игрушками. Да, была у него улыбка взрослого, понимающего трудности роста у ещё несмышлёнышей.

— Ты что лыбишься? — не понравилось одному из «золотой молодёжи» лицо у обутого в валенки.

Молнию на куртке резко расстегнул, грудь вперёд сделал.

А надо сказать, который невидный такой — ничего особенного из одежды у него, ни лица запоминающегося. Нос картошечкой, какой бывает у русских; пальцы покрупнее чуть растопырены, согнуты. Явно приспособленные, как сподручнее топорище удерживать при заготовке дров. Или, скажем, картошку копать по осени. А он со своей улыбочкой позволяет себе, сидя на ряд ниже, ещё и смотреть.

— Что с меня взять, с нищего духом? — говорит.

По тем, кто выше, взглядом прошёлся. И ведь смотрит в глаза прямо!

Далее случилось неожиданное. У которого руки хватистее, что-то быстро стал говорить латышу. Так же по-немецки тот ответил:

— Natürlich (естественно).

Я был недалеко и мог видеть Симону.

Неожиданно для меня её лицо стало каменным, смотрит недоброжелательно. Желваки на скулах обозначились. У той, что ещё минуту назад смотрела весёлыми глазками, колючими они стали.

В это время профессор лекцию начал читать по автоматической системе управления строительством, отмечая успехи её и вода указкой по таблице со многими цифрами. Себе он улыбался, довольный.

Но разговор этот, весьма запомнившийся мне, имел своё продолжение через два десятка лет.

В тот год в один из славных летних дней, какие бывают в Сибири ближе к осени, пришлось мне пообщаться с латышом Альгисом, ещё в студенческие годы овладевшим пятью языками, поговорить с ним на юбилейной встрече выпускников факультета.

Альгис, заметно уже постаревший, заметно пополневший, живёт теперь в Польше. Работает переводчиком, получает зарплату по европейским стандартам. Дети, внуки — всё хорошо. Только пожаловался на дороговизну снимаемой квартиры в сто тридцать квадратных метров. Перезваниваются они с этническим немцем, назвавшимся когда-то «нищим духом». (Теперь вот его имя не могу никак вспомнить. От старости это у меня.) Живёт он в Гамбурге, работает в большой проектной строительной фирме. В России не бывает, ссылаясь на дороговизну поездки. А в Австралии в отпуске — почти каждый год.

Думаю я, дело не в дороговизне, а в его нежелании, и верящего в слова «униженный да возвышен будет», побывать в местах своего унижения.

Но продолжим о главном нашем герое — Симоне, имевшей некогда походку, достойную своего имени.

Потянуло на воспоминания меня после прочтения заметки в газете о банкротстве нынешнего хозяина зверофермы. И что вместо шиншилл в клетках ночуют бездомные, совершенно опустившиеся личности. Конечно, в это я не мог поверить. Подумал о времени, что прошло, о возможных жизненных неудачах, которые могут быть у любого.

В один из таких дней я решил навестить её, имевшую неповторимую походку — носочки чуть врозь. Казалось мне когда-то: надень она ватник, а на ноги пимы сибирские — и в этом она будет прекрасна. Я хотел видеть Симу нынче. Несмотря ни на какие обстоятельства её жизни, я сел в междугородний автобус с надеждой увидеть кусочек моей давней молодости.

Часа через два я уже шёл по рабочему посёлку, оставшемуся от развитого социализма. Тропинка вильнула в сторону речки, текущей вопреки хламу в ней из автомобильных шин, холодильника, тряпок, консервных банок, битого стекла. На одной из образовавшихся запруд — нечто похожее на инсталляцию с ободранной кошкой на ободранном кресле. Пустые глазницы трупика животного в сторону ещё жилых домов направлены. Автор, причастный к прекрасному, в лапках смердящего прикрепил флажок из уже послужившего предмета дамского туалета. Он, причастный к прекрасному, без всяких там намёков этим приветствовал нынешнюю раскрепощённость нравов. Я оглянулся на пройденный путь, стекло под ногой хрустнуло. Рядом крыса голову подняла над объёдами. На меня умное животное посмотрело: не опасен ли я ей? А на берегу умирающей, дурно пахнувшей речки, метрах в ста, сидела компания выпивших. Среди них два юных создания школьного возраста. Увидев подбегжающую машину, они неровной походкой прошли к мосту и, сделав позу, начали расчёсывать длинные волосы. А на лицах их — улыбки, говорившие о согласии доставить

маленькие земные радости проезжающему господину, для чего одной пришлось стать яркой блондинкой, другой — жгучей брюнеткой. Как говорят некоторые из оптимистов, там шумит уже другая жизнь.

«Да не совсем другая, — подумал я, ступая по тропе. — А куда она, каинова зависть, делась, со своей близняшкой-гордыней, чем обильно вскармливался народ наш безальтернативными руководителями, поощрявшими низменные инстинкты к „врагам народа“ и „изменникам родины“? А нынче их потомки, вскормленные вседозволенностью, живущие далеко от наших вонючих речек, не могут не испытывать ненависти к благодетельствовавшей бывшей родине», — всматривался я в видимые перемены вокруг.

«Рассентимент — зависть общества, всего народа становится социальной проблемой, гибельной своими последствиями для этого народа», — вспомнил я одного сидельца на Лубянке.

«Да, близняшки они — зависть и гордыня, родившиеся одновременно, — мог бы ныне я дополнить того сидельца из нашей общей камеры номер восемьдесят пять. — Так что всё в порядке, стабильность у нас». Осколок оконного стекла хрустнул, напоминив о трудности хождения по тропе в пересечённой местности. Я оглянулся ещё: «снял» обеих. Обеспеченным оказался господин; видно, по карману ему нынешняя жизнь.

«Всеми трудами, ратными успехами такого народа в конечном счёте дружно воспользуются другие народы». Галилеем тюремные называли того еврея, вспомнил я «кликуху» сокамерника. И величайшее уныние почувствовал от этого воспоминания.

Я стал подниматься по тропинке выше, обходя банки из-под овощей, мясной тушёнки, фруктовых соков, завезённых со всего света.

А вот и ворота: массивные, почерневшие от времени, сработанные руками ещё довоенных русских мужиков. Полотно, сделанное на века, теперь покосившееся, повисло на одном кованом шарнире. Я наклонился, чтобы пройти, и оказался на территории, представлявшей иллюстрацию к словам «мерзость запустения». Ступил на тропинку среди лебеды прошлых лет, а в ней во множестве просматривались брошенные ржавые клетки для зверьков. Тропинка обогнула кучку гравийно-песчаной смеси, напоминая, что кто-то очень давно имел похвальное желание строить. Виднелся массивный наклонившийся туалет с явными признаками отхожего места вокруг. На прислонённом к нему мотороллере без фары и двигателя сидела воробьиная стайка. Птички были веселы, радуясь осеннему солнцу, а я ступил на доску крыльца с признаками на ней давней краски.

В неосвещённой прихожей стала заметна фигура сутулой, немного на бочок, женщины, в которой

я с трудом узнал ту, ради улыбки которой и я мог бы пройти на высоте шести метров, а теперь тянущей на себя шаль, какие носили старухи в послевоенной русской деревне. Она шурилась, стараясь сделать улыбку и бросая одобрительные взгляды на пакет в моей руке. В ней, с синюшными ногами в глубоких калошах, трудно было признать ту, что когда-то была дамой из общества, красиво держащей хрустальный бокал и мило рассказывающей о столичной жизни или радующейся дизайну квартиры, что практически в центре Москвы.

Я посмотрел вокруг и неожиданно вспомнил её отчество — Ниловна! Оно показалось мне естественным, самым подходящим для этой тощей, кривобокой старушечки со старческой кожей на кистях рук.

Ниловна сделала несколько шажков в сторону открытой двери в комнату, приглашая войти. В комнате посветлее её греческий нос мне показался неуместным. Более подходили её халат со следами обедов, корка хлеба на столе и мухи, радостно пошевеливающие крылышками на ней. Со старческими слезами на глазах она, помятая жизнью, молчала. А на шорох у меня за спиной сказала просто:

— Мои наследники, — почти незнакомым мне голосом с хрипотцой.

Я оглянулся на дверь, где стояли два субъекта. Один, судя по редкой просвечиваемой бородёнке, должен быть мужского пола. Другой — женщиной в платье почти до пола, под которым уже заметна зарождающаяся жизнь.

«Инцест. Брата с сестрой», — всматриваюсь я в лица. Ни капли свежей крови в их жилах — повернулся в сторону Симоны. Но вместо приготовленных мною слов о радости встречи и поцелуя её ручки спросил:

— Как живёшь, Сима?

— Живу, хлеб жую, — после паузы. — На пенсии. По уходу за детьми ещё платят, — в сторону двери кивнула. Правую руку на столе расположила. — Почти по европейским стандартам им добилась содержания, — на меня строго посмотрела она — как в ожидании о возможных возражениях.

Ощерилась — совсем неожиданно это для меня. А я — как быть, что сказать на это — не знаю. С ноги на ногу переступаю. Оглядываюсь и вижу радость будущих родителей, наблюдающим пакет в моей руке. От вида вынимаемой из пакета бутылки глаза потеплели у хозяйки.

«Почему ты не уходишь?! — посмотрела на меня та, которой когда-то завидовала «серость». — Увидел — и уходи. Уходи!» — прочёл я мысль на её вдруг посуровевшем лице. Рядом неопределённого возраста её дети, выросшие в культурной семье. В доме огороженном, с охраной. В нетерпении они — не терпят им открыть коробку конфет известной фирмы. Под их бормотание Симона

Ниловна, справившись с пробкой, наливает вино в захватанный стакан. Постукивая им об остающиеся ещё зубы, выпивает, встаёт как страдающая от радикулита. И устремляет на меня взгляд: «Ну почему ты не уходишь?» На дверь глазами показала.

Я вышел, осторожно ступая в сумраке коридора. На выходе, где посветлее, лежала кошка с глазами... Да, глазами «человека разумного». Похожая на ту, что смотрела на меня тридцать лет назад при аресте кагэбистами. Спустившись с крыльца, ещё оглянулся, чтобы увидеть взгляд животного, чувствующего горе других. А мне он напомнил о разработке мёрзлых грунтов ломом — один кубометр в смену. Тут и плечо заныло, напоминая о тяжести лома и лопаты, называемой «химиками» «стахановкой».

Уже возвращаясь, к моему немалому удивлению, в зарослях лебеды я увидел большую клетку, накрытую брезентом, а поверх ещё и плёнкой. В клетке — мужичок совершенно неопределённого возраста. Откинув полог, он грелся на осеннем солнышке. Кажется, он был нетрезв, судя по его бессмысленному взгляду и бормотанию вслед мне. (А я не к месту подумал о своей боли, оставшейся после французских гуманистов, не дававших мне, молодому, бездомному, спать ночью. В кустарнике, на таком тёплом побережье Атлантического океана...)

В стороне, на что я раньше не обратил внимания, стояло низкое полуразвалившееся помещение из круглого леса. И там была жизнь: через открытую дверь виднелись вспышки экрана телевизора, слышался гомерический смех, хорошо срежиссированный. Освещённая солнышком, стояла низкорослая фигура. Судя по свисающим с груди лепёшкам, это была женщина. Наклонившись вперёд, она опоражнивала желудок. Могая головой, размахивая энергично маленькими ручками в стороны, она опоражнивала, видимо, не только вчерашнее, но и съеденное прежде. Из покосившейся от ветра стальной трубы над крышей тихо выходил дымок. Было совсем тихо, и дымок уходил в небо прямо. Совсем тощая собачонка принохивается к опорожнениям из желудка, хвостиком пошевеливает.

«Кажется мне, не забывают Симу и её старые друзья, — знакомыми мне показались у дамы маленькие руки. — А что Сима может сделать против? Могут и поджечь. Где же они зимой-то обитают?» Представить этого себе не могу и не желаю придумывать, где они, некогда возомнившие себя выше многих, прячутся от наступившего похолодания. С этим я и вышел со двора, всё более удаляясь от покосившегося полотна ворот на одном шарнире. Вышел, уверенный совершенно в непоколебимости законов жизни на земле. Как и сакральных знаков, сопровождающих эти законы.

Нехорошо мне бывает ночью: тоска нет-нет да сожмёт мне грудь от воспоминаний.

«А что с ним, твоим первенцем?» — спросил я Симу в ту единственную ночь с ней. Врезался же мне в памяти её тогдашний рассказ... Забыть не могу.

Вот эта история её.

«Диму я кормила грудью полгода, но, поняв, что он безнадежно болен, без малейшей надежды на выздоровление, решила сдать в детский дом инвалидов».

Помолчала, вспоминая. Руки за голову, лепнину на потолке долго рассматривает.

«Не видел, не говорил, но узнавал по голосу.

Уговорил меня однажды тогдашний друг, хорошо известный в наших кругах, уговорил съездить в этот приют. Близко он воспринял судьбу Мити. Уговаривал: всего сто километров с небольшим, да по хорошей дороге... К вечеру и вернёмся, говорил. А дорогой всё что-то посматривал на меня».

Помолчала и...

«Что им надо от меня? — зло. — Я что, больными их специально рожаю?!» — гневалась, что капли вина с фужера на грудь падали.

«Через час с небольшим мы увидели в сосняке бревенчатый дом, какие строили мужики перед войной. А воздух скошенной травой пахнет!.. Как на покосе».

Лицо грустное, на нём мысль. На бок поворачивается, руку к столику тянет, стакан с вином на него ставит.

«Сколько лет прошло».

Откидывается на спину, ещё смотрит на лепнину. Пальцы рук беспокойны.

«Директриса нас встретила, в комнату для гостей пригласила. Чай предложила, вазочку с конфетами достала. „Бывает, и наших детей усыновляют. Тем более если родственники“, — с надеждой смотрит, с одного на другого переводит взгляд. Чашки с чаем пододвигает. Мы на это молчим, а увидев няню, входящую с Митей, и взглянув на нас с надеждой, ушла. Совсем у двери обернулась, в глазах надежда.

У нянечки улыбка на лице, одета опрятно. Диму к нам подвела, сама на диванчике в уголке устроилась. Нас рассматривает. Дима головой вертит, своими незрячими глазами как увидеть хочет. Сопровождающий меня мужчина — теперь уже давно в Москве он — в подростка всматривается, пальцы подрагивают на коробке конфет.

А Митя-то оказался весь лицом в дедушку Сергея. Но он уже не мог стать его отцом... Я-то знаю... В какой-то газете писали, что-то передаётся от прежнего партнёра», — вздыхает.

«Вот и стоит он, сын мой, перед нами — худой, штанишонки на нём короткие. Стоит, руки перед собой держит, пальчиками тихо шевелит, как ощупывает вокруг себя. А я возьми да позови:



„Митенька“. Как он резко повернулся на голос... Побледнел, что, кажется, и кончик носа цветом поменялся, губы трясутся. Рот открыл, а из него — хрип со стоном. Вспомнил, узнал, ещё стонет. Шаг влево, шаг вправо делает — меня ищет. Няня, никогда не слышавшая звука из гортани мальчика, трясущейся рукой крестится. А мой тогдашний друг коробку конфет со стола берёт, на стол обратно кладёт. Ему что делать, не знает. Митя в пустоте ищет то, что когда-то очень давно было, — мать! С подбородка слёзы капаят, а из груди его, из самой глубины её — стон, какой невозможно издать, не пережив величайшего предательства матери!

Вот няня старая привстала с дивана и... упала на колени, о Деснице Божьей говорит, пальцем в небо указывает. Лицо как у одной из безумствующих.

А когда мы стали уходить, она просила побыть ещё, ну хотя бы немножечко. На коленях просила, руку к нам тянула. Говорила, что Митю обижают и дети смеются над ним, — вслед нам, уходящим, говорила. На оставленную нами коробку конфет „Закат над Москвой“ указывала».

И когда я вспоминаю встречу с Симоной Сермяжной, оторвавшейся от берега, но так и не приставшей к другому, я чувствую близость её судьбы в ответе на её давний московский вопрос: что есть Успение? Нет тайны и в том, откуда взялись на небе миллиарды звёзд и почему оно, наступит час, свернётся как свиток, а родившийся слепым — родился для славы Божьей.

Но всё равно, всё равно сжимает в груди при воспоминании о страдающей, не по возрасту состарившейся, безнадежно больной женщине.